

Оливия Ливингстон

*Второе
небо*

Оливия Ливингстон

Второе небо

«Автор»

2026

Ливингстон О.

Второе небо / О. Ливингстон — «Автор», 2026

Когда в мире, где люди разучились удерживать сложные мысли, начинает гаснуть древняя система защиты, архивист Алекс обнаруживает: память цивилизации была спрятана не в книгах, чертежах и машинах, а в детских считалках, обрядах и движениях тела. «Сердца света», веками удерживавшие границу между двумя мирами, стареют. Если они погаснут, пространство сомкнётся — и народ исчезнет. Но единственный известный способ починить систему требует страшной цены: принести в жертву ребёнка, чья память ещё не искажена забвением. Перед Алексом встаёт выбор между гибелью всех и спасением мира ценой одной жизни. Однако инженерное мышление начинается там, где человек отказывается принимать два плохих решения как единственно возможные. Архивист ищет третий путь — и понимает, что надёжность держится не на одном идеальном носителе, а на живой, распределённой памяти множества голосов.

© Ливингстон О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ВТОРОЕ НЕБО	5
Предисловие	6
Имя, которое стерлось	7
Сердце света гаснет	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Оливия Ливингстон

Второе небо

ВТОРОЕ НЕБО

*«Мы не разучились думать. Мы разучились держать подуманное
в руках».*

— из записей архивиста

Автор идеи — Милуков Вячеслав Владимирович, инженер АО «ЗАСЛОН»

Номинация «Соавторство» · конкурс «Инженеры слова»

Предисловие

Самое надежное хранилище — то, которое однажды перестанет хранить. Эта мысль обычно не приходит в голову, пока носитель цел. А он не вечен: бумага гниет, металл устает, код устаревает быстрее, чем успевает пригодиться.

История выросла из инженерного разговора о другом — о системах, что должны держать критическую границу годами, без обслуживания, на отказавшем оборудовании. О резервировании. О цене защиты. О том, что происходит с теми, кого защита оставляет внутри.

Остальное придумалось само. Я не стал делать из этого мира ни утопии, ни приговора. Здесь нет злодея, которого нужно победить, и нет кнопки, которую достаточно нажать. Есть инженерная задача — и человек, меньше всех похожий на инженера, которому придется ее решать.

Имя, которое стерлось

Слово сотрется. Как поется — останется.

Меня зовут Алекс. Говорю это сразу, в начале, потому что к концу могу забыть, — у нас все забывают, я просто записываю быстрее, чем теряю, и в этом вся моя фора, в полушаге.

Я архивист. Хожу от поселения к поселению и записываю чужие жизни, пока их есть кому рассказать. Прихожу всегда поздно — но архивист, который успел бы вовремя, это уже не архивист, а врач. Врачей у нас не осталось. Осталось слово «врач», и то его помнят неправильно: думают, это тот, кто врет. Иногда я не спорю.

К старухе я тоже пришел поздно. Ее звали Гарь. Как звали раньше — не знаю; к старости у нас остается одно имя, короткое, как выдох, то, что легче помнить тем, кто рядом. Ее помнили как Гарь: она всю жизнь топила общинную печь, и от нее пахло золой и теплым камнем. Запах я записать не могу. Пробовал. Слова о запахе через день читаются как чужие, будто их писал кто-то, кто нюхать не умеет.

Ее положили у самого «сердца света» — так у нас делают с уходящими, чтобы тепло проводило. Наше «сердце» невысокое, по грудь взрослому, граненое, и внутри него ровно, без дрожи, горит то, что предки называли светом. Мы тоже говорим — свет, другого слова не сберегли. Если поднести ладонь, руки оно не греет. Греет иначе: в комнате с ним не выстывает то, что помнит про тепло. Это я когда-то записал. Перечитал вчера и не сразу поверил, что писал сам. Почерк мой. Мысль — уже почти чужая.

— Ты архивист, — сказала Гарь. Не спросила.

— Я. Алекс.

— Имя свое бережешь. Зря. Имена не вода, их нельзя запасти. Садись. У меня осталось одно слово. Я его всю жизнь несла и никому не отдавала. Тоже зря.

Я сел и достал лист. Листов у меня немного — мы выделяем их из прессованного волокна, каждый под счет, и, садясь писать, я будто отрезаю кусок собственного будущего. Пишу мелко. Научился так мелко, что один лист держит целую жизнь, если жизнь была тихая. Шумные в лист не влезают. Шумные вообще плохо помнятся — слишком много всего сразу, не за что ухватиться.

— Говори, — сказал я. — Я успею.

Она засмеялась. Смех сухой, как треск растопки.

— Все вы так. А потом не успеваете. Я видела, как ты записывал Тихого. Он умер на середине слова, а ты дописал за него. Придумал конец.

Правда. Тихий рассказывал, как его отец чинил «сердце» в дальнем поселении — единственный раз на моей памяти, когда кто-то говорил, что «сердце» вообще можно чинить, — и умер на слове «нужно». Нужно — что? Не знаю. Я написал: «нужно беречь». Соврал. Архивист не имеет права беречь, он имеет право только записать как было, а как было — я не услышал. С тех пор это недописанное слово сидит во мне, как камешек в башмаке.

— Я больше не дописываю, — сказал я. И сам себе не поверил.

— Дописываешь. Все дописывают. Так и живем — досочиняем за теми, кто не успел. Оттого ничего и не помним правильно. Целый народ, каждое утро придумывающий себя заново.

Я промолчал. Спорить с умирающими — последнее дело: они правее тебя, у них меньше времени на ошибку, они его не тратят.

— Слово, — напомнил я.

Она закрыла глаза. Под веками двигались зрачки — искала. У стариков это видно: они ищут слово, как вещь в темной комнате, на ощупь, и порой находят не то.

— Прыжок, — сказала она.

Я записал: прыжок.

— Нет. Ты записал, как через лужу прыгают. А оно про небо. Когда я была маленькая, бабка пела: раз — земля, два — вода, три — прыжок, и нету дна. Мы прыгали под это, через веревку. На «прыжке» надо оторваться от пола обеими ногами и не дышать. Кто вдохнет — падает. Я ни разу не упала. До сих пор умею не дышать на «прыжке».

— Это игра, — сказал я. И сразу пожалел: дурная привычка называть вещи раньше, чем понял.

— Не игра. Игра — это когда помнишь зачем. А мы не помним зачем. Значит, не игра. Значит — последнее.

Она открыла глаза и посмотрела очень ясно, как смотрят за миг до того, как ясность уходит совсем. Этот взгляд я знаю. Я на него хожу, как на запах дыма: где он — там работа.

— Запиши не слово, — сказала она. — Запиши, как поется. Слово сотрется. Как поется — останется. Поется руками и ногами, а они у нас держат дольше головы. Запиши: раз — земля...

— Два — вода, — сказал я. И не заметил, как сам начал петь.

— Три — прыжок, — сказала она.

И не сказала «и нету дна».

Я ждал. Смотрел на ее губы. Губы сложились на вдох — тот самый, запретный на «прыжке», — и не разжались.

Гарь не упала. Она оторвалась от пола обеими ногами и не вдохнула, как умела всю жизнь, ни разу не упав. А я сидел рядом с листом, на котором стояло: раз — земля, два — вода, три — прыжок. И пустота там, где должно быть дно.

Дописывать я не стал — обещал же. Но рука сама повела перо: про то, что дно, наверное, есть, просто далеко. Я едва ее удержал. Соврал бы опять. Зачеркнул незаконченное движение, и осталась короткая черная черта, как порог, через который я не шагнул.

Над ее постелью, на стене, мелом был рисунок. Сперва подумал — внуки. Потом вспомнил: у Гари никого. Она топила печь для всех, оттого все ее и помнили. Рисунок старый, мел въелся в камень. Небо — простая полоса поверху. Только полоса не целая. Ее перечеркивала трещина, грубая, в два движения, сверху вниз и наискось, будто ребенок изо всех сил продавливал одно и то же место. А за трещиной, в самом разломе, был закрашен кружок. Второй. Маленькое второе солнце, которого на нашем небе нет.

Я стоял и смотрел на расколотое небо, нарисованное рукой ребенка, которого здесь не было, в доме женщины, у которой никого не было, рядом с ее телом, замершим на середине считалки про прыжок и про дно, которого я так и не услышал.

И впервые за годы почувствовал не усталость. Усталость я знаю, она теплая. Это было другое, холодное: я опоздал не на одну смерть. Я опаздываю на что-то куда большее, что уходит из нас всех, тихо, каждый день, как тепло из комнаты без «сердца».

Записал на полях, мелко: кто рисовал небо. почему оно треснуло. успеть.

Успеть — последнее слово, которое я себе позволил в тот день.

Сердце света гаснет

Второе солнце не грело. Оно напоминало, что где-то есть первое.

Рисовала девочка. Это я выяснил быстро — быстрее, чем хотел: легкие ответы у нас всегда обманывают. Ее звали Малая, лет семи, и треснутое небо она рисовала на каждой стене, до которой дотягивалась. Матери это не нравилось. У нас не любят, когда дети рисуют то, чего не видели. У нас вообще не любят невиданное — наверное, оттого, что не видели почти ничего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.